

Свежесть рифмы, проявленная интонация, острый взгляд, подмечающий детали, характерный поэтический жест, динамика повествовательного стиха и свободное дыхание, выраженное в долгих периодах и потоке стихотворной речи, – свойства поэзии Александра Стесина. От стихотворения к стихотворению перетекает образ окружающего мира, радость и печаль, как содержание жизни, принимает сердце поэта, чем он щедро делится с нами.

Д. Ч.

* * *

Это так из яичницы жёлтый глаз
вытекает на сковороде.
Это просто конфорочный вспыхнул газ.
В умывальнике, в ржавой воде
две руки отразились и мыла запас.
Или велосипедный сверчок
умолкает в прихожей, и в тишь, как в паз,
попадает замочный щелчок.

Это кто-то выходит из темноты,
в коридорно-квартирном аду

жмётся к стенке с эстампом гоголевским: «Ты хочешь, чтоб я ушла – я уйду».

Это чувств пятернёй в промежутке одном шарит время, в дому, где нас нет, гаснет свет. И чернеет к весне за окном хрусткой яблочной мякотью снег, будто скоро займёт этот номер пустой кто-то новый, с двери сняв печать, и начнётся с постскриптума рифмы простой всё, что поздно сначала начать.

* * *

Отцу

То пейзаж, проступив, расплывается, то портрет. Так смещается фокус: не чётче, но многогранней. Или кто-то фланелевой тряпкой стекло протрёт в темноте, к человеку ещё не привыкшей, ранней.

Или ширится страх, из сознания в мир сочась (закрываю глаза, и нет нас).

Но настенному зеркалу видно, как здесь и сейчас ты в халате сидишь, как поддерживаешь инертность телефонных бесед, не вникая в их суть; держишь чашку в левой руке, а в правую руку авторучку берёшь и вычерчиваешь что-нибудь на салфетке, плечом к щеке прижимая трубку.

И как, договорив, продолжаешь сидеть, следя за старательным-машинальным рисунком, горбясь. Полнотой одиночества вытеснен из себя, весь уходишь в этот рисунок, в образ.

* * *

Помню побочное: фильм про джедая, голос ди-джея, мельчанье дождя. Помню, что жили, «вот-вот» ожидая. И что успеть, говорила, должна.

Что, завернувшись в моё одеяло вместо халата, ни свет ни заря

что-то подчеркивала, выделяла
в толстом учебнике, наспех зубря.

И – с новосельем тянули, пока не
стало казаться, что некого звать
(или что некуда). Зренье боками
чувствует вещи, но в руки не взять.

Будто прицельное «вот» раздвоилось
и растворилось в пернатом «вот-вот».
Или синица в руке раздавилась
(помню, твердил про «синицу» весь год).

Стало быть, новая жизнь начиналась,
как начинается то, что и так
существовало всегда, – вычленялась.
Чтобы отсрочить, подводишь итог.

Что там в итоге? Неопределённость
с лёгкостью перестановки одной
перерастает в непреодолённость.
Кажется проигрышем, западнёй

память, проросшая в мир адресами.
Знание о том, что потом, отними,
как фотографии часть отрезали,
чтоб получились на ней одни мы.

С улицы – воздух погасшего неба;
свет, мимолетно из тьмы извлечён,
фарным лучом нарастает в окне, по
спящей фигуре проводит лучом.

Не шевельнётся ни волос, ни мышца.
Вот неподвижность во всей наготе.
Где оно, то, чего ждёшь и боишься?
Ближе и ближе. Притом что – нигде.

ПРИСУТСТВИЕ

Там, где вата – разновидность снега,
или дождь, который из фольги,

целый день идёт в квартире недо-
убранной (прибрались, как могли);

где часов песочных полудрёма
(перекочевавших от родни),
будто время – в форме палиндрома –
покрути в руках, переверни...

И на законный тополь пялся:
кольца паутины меж ветвей,
как гигантский отпечаток пальца.
Там, где темень...

А сейчас – светлей
и спокойней, кажется, интимней;
пятый, что ли, чайник вскипяти,
потому что некуда идти мне
из гостей, не хочется идти.

Там, где спать детей кладут, воюя:
чем скорей уснёте, тем скорей
Дед Мороз придёт (ещё в июле
ждали, но теперь – вот-вот),
согрей
всё, что есть, дыханьем...

Непрерывность
жизни, не иссякшей до сих пор,
как в посуду жидкость, набери в нас
и комком гортанным закупорь.

Опыт называнья, выбор тем из
личного пространства, все дела...
В смысле, что поэзия, как термос, –
вещь для удержания тепла.

Потому что дальше – вряд ли больше.
Кажется, отсутствием богат
личный опыт, но была любовь же
посильней, чем в фильмах напрокат,

и взяла на время под опеку
эти вещи, вату и фольгу,
слитного Dasein'a подоплеку
или холст (без подписи в углу),

на котором зренье различает скрип дверей, бесследный шарк подошв – там, где «взгляд снаружи» означает, что вовнутрь уже не попадёшь.

* * *

И видишь как бы сон, и как бы – нет (настенного динамика мембрана процедит бормотание медбрата, вернёт тебя в знакомый кабинет, пропитанный лизолом и крахмалом) о чтении с больничного листа анамнеза от первого лица – о том, что жив... И видит сон, как мал он.

О третьих лицах, слившихся в одно: сухой хасид, его сосед, отёчен, на происках спецслужб сосредоточен, и женщина, глядящая в окно, пока другие жители палаты (полупалата – полукоридор, где всех равняет галоперидол), в пижамное одеты и патлаты, раскрашивают что-то всемером (арт-терапии труд ежесубботный как подтверждение мысли, что свободный художник – всё-таки оксюморон).

О том, что видишь: лифт, подсобка, будка вахтерская... Сбиваешься с пути, блуждаешь. И в ответ на «как пройти?» дежурный тычет в пустоту, как будто её проткнуть пытаешься или на невидимую кнопку нажимая. Похожесть помещений нежилая, уложенная в лабиринт длина.

Больнично-коридорный сумрак суток. Как время замирает на посту, как зренье превращает пустоту в расплывчатый рисунок, и рассудок

спешит назад, к приметам бытовым.
И видишь, достоверности добытчик,
не свет в конце, а красный свет табличек
«пожарный выход» зреньем боковым.
И – скрежет лифтов, и сквозняк подсобок,
и оклик, относящийся не к нам,
всё дальше... Разбредаются по снам
жильцы палаты, спящие бок о бок.

ЯД ВА-ШЕМ

Назидательных тостов патетика
и густой чикен-суп из пакетика.
Совмеща с молитвой еду,
гомонила община чикагская;
на дитя наседали щекастое,
воспитанье имея в виду.

...Были в землях, где власть фараонова,
мы рабами. Была Ааронова
речь темна, вера наша – слаба.
Дай же знак нам десницей простертою...
Чикен-супом задумчиво сёрпя,
мальчик Мотл повторяет слова.

Повторение жизни мгновенное.
Засыпая, услышу, наверное,
как бушует соседка одна
во дворе, обзывая подонками
тех, кто песни горланит под окнами.
Как, вернувшись домой, допоздна

потрошит кладовую и мусорку.
Забывает слова. Помнит музыку
и пюпитром зовёт парапёт.
Отовсюду ей слышится пение.
Терапия – от слова «терпение»,
врач витийствует, неторопёт.

От Освенцима и до Альцгеймера –
никого (вспомнит: «было нас семеро»)).
Давность лет. Отличить нелегко

год от года и месяц от месяца.
Но ждала. И раз в месяц отметиться
заезжал то ли сын, то ли кто.

Личность тёмная (в памяти – яркая);
вензель в форме русалки и якоря,
отличительный знак расписной,
на костлявом плече, рядом с оспиной.
«Всё лечу по методике собственной.
Ни простуд, ни проблем со спиной.»

Как с утра подлечив, что не лечится,
на бычками усыпанной лестнице
изливал мне, малому, своё
алкогоре. Общаться не велено.
Поминальной молитвой навеяна,
канет исповедь в небытиё.

...Мышцей мощной, простёртой десницею...
Будет Мотлу рука эта сниться и
будет сниться ещё на руке
то русалка наплечного вензеля,
то соседкина бирка Освенцима
(детям ввали, что это – пирке).

...И явил чудеса... И усвоили:
будет каждому знак при условии,
что поверит – не с пеной у рта,
не как смертник, а как засыпающий
верит в будничные день наступающий,
в продолжение жизни с утра.

* * *

Б. Л.

разрешите доложить
приказал я долго жить
и дурными снами мучим
обратил призыв к тому чьим
мненьем должно дорожить

подтверди что жил не зря
хоть неумно жил но зла

не умножил и спасибо
жизнь носила смерть скосила
срок скостила и нельзя

опровергнуть наяву
детский сон где я реву
голос тоненький срывая
и родных зову скрывая
то что больше не живу